Он был скромным человеком. Такую скромность, как у Валентина Николаева, можно найти лишь у истинно православных крестьян. И никаких красивых объясняющих слов, определений, аллегорий более не требуется. Нужны только примеры, потому что для городского человека эта краткость определения – «православный крестьянин» – абсолютно непонятна и даже раздражительна. Эта скромность соткана, как ткань, основными нитями которой является терпение, а в качества нитей утка́ служит доброта. Переплетение доброты и терпения и дает такое качество характера, как православная скромность. Качество, потерянное, как мне кажется, навечно за годы атеистического, советского безверия.

«За мастером всегда стоит тайна. И разгадать эту тайну почему-то неудержимо тянет. Даже когда мастера нет в живых. Мы вглядываемся в черновики, в семейные фотографии, в перепады биографии, письма… Но полной ясности так и не наступает: ушел тот мир, точнее тот миг в мире, когда душа художника постигла нечто, затрепетала и запомнила… Потом прошли годы, много бед и несчастий претерпел художник лишь ради того, чтобы однажды воссоздать то дивное мгновение, изумиться ему еще раз и оставить навсегда в рукописи, на холсте, в нотных знаках… Как будто кто свыше велит это сделать», – так рассуждает об истоках подлинного творчества Валентин Николаев в своей книге размышлений «Свет слова и тоска по мастеру».

Нет, не в год смерти написаны эти строки, хотя книга издана в 2008-м. У меня перед глазами старый компьютерный вариант «Тоски по мастеру», датированный 1992–2002 годом. Шестнадцать лет обдумывал

Валентин Арсеньевич Николаев свое литературное завещание, а только что приведенные строки – самые первые, самые изначальные, задающие тон всему произведению.

Вчитываясь в его произведения, вглядываясь в него самого, я в беседах о литературе и искусстве пытался найти связь личности автора и качества произведений. Я, горячась, спрашивал Валентина Николаева: «Может ли подлец написать талантливый роман?» Он уходил от прямого ответа, а как-то раз, слегка раздосадованный моей непонятливостью, сказал мне: «Читай мою “Тоску по мастеру” и учись». Это был единственный случай, когда он так настойчиво привел в пример свое произведение как эталон, как вещь для изучения. И первое, на что я обратил внимание, изучив его, живого, за немалые годы общения, была скромность. Она у него есть то непротивление злу насилием, при котором пострадавший не подставляет после пощечины другую щеку, а то, когда рука противника становится бессильна и не может подняться для удара. То, когда изо рта хулителя никак не могут вылететь резкие, осуждающие, и уж тем более ругательные слова.

Теперь пусть спросит себя горожанин: есть ли (или были) перед ним такие люди?

Дадим некоторые пояснения к слову «горожанин». Оно для крестьянского сына Николаева вовсе не ругательное, оно для него символ антагониста, оппонента, ярого противника физического труда, специалиста по сколачиванию крупных и не всегда честных капиталов. Это некий обобщенный образ не только спорщика, но бездумного, всеядного потребителя, точнее, мещанина. Видимо, того, о ком на стенах городских домов аккуратно, через трафарет, сообщается нелицеприятное: «Я ненавижу тебя, обыватель!» Эти отчаянные надписи время от времени появляются на домах знакомых улиц.

Много было таких обывателей в жизни Валентина Николаева, что мешали ему. О них он писал: «Люди, примкнувшие к искусству, но без признаков таланта, – люди для истинных художников страшные. Они занимают роль полуадминистраторов-полухудожников, попеременно и ловко спекулируя то тут, то там. И везде успевают. Иногда бьют и дуплетом».

Православная скромность спасала его, не давала мысли сбиться с пути, сохраняла его внутреннюю свободу. «Что за игра слов такая – внутренняя свобода? – непременно спросит “горожанин”. – Свобода бывает одна, различий в ней нет!»

Есть!

Тем-то и отличается православный человек от протестанта-западника, что заботится прежде всего об очищении души от зависти, злобы, жадности, что осьминогом страстей стягивают внутреннюю свободу человека. Западному обывателю неведомы эти опасения, он смело барахтается среди щупальцев спрута внешней свободы. Ему родны и близки общечеловеческие «ценности», права человека, заменяющие мораль, беспринципная сила капитала и вседозволенность при его наличии. Православный человек может быть свободен при любых внешних обстоятельствах. Независтливый, верующий и добрый Валентин Николаев был всегда свободен.

«Когда писателя не замечают, обходят критикой, газетным и телевниманием, он не должен ни на кого обижаться. Он всегда должен думать только о качестве своих строчек: умный, понимающий читатель все равно найдется, поймет и оценит». Будь спокойна, душа Валентина Николаева: такие читатели у тебя есть и будут всегда.

Прямо и откровенно скажу, что редко кто обладает в полной мере этим поистине чудесным свойством человеческой души – православной скромностью. Она не наследие «темного» прошлого – тех далеких и забытых лет торжества православной веры, она от Бога. Многим известно определение – ангельское терпение, но не многие, я в этом уверен, с ним встречались в серых быстротекущих буднях. Носителей его осталось катастрофически мало, и определить их можно прежде всего по виду. Их спокойные, вдумчивые глаза (ни в коем случае не быстрые, уж не говоря о бегающих) льют свет доброты на каждого, кто с ними общается. Несуетное уважение во взгляде, жесте, слове. Рассказы, пейзажи, портреты, созданные ими, оказываются самыми полезными, краткими, единственно нужными народу. Собеседнику, портретисту ли, читателю предлагается понять прекрасную, скромную душу визави, натурщика и писателя. И тогда наступает редкостное прозрение.

Счастливы ли такие люди в обычном суетном (материальном) смысле этого слова? В том, о котором пророчат цыганки, как нагадала Валентину Николаеву одна из них в рассказе «Первая весна»: «…но счастья у тебя не будет. Ты сам его погубишь…»

Счастье у них свое. И «горожанину» оно не внятно.

Чистоту и покой излучало лицо неожиданно и скоро ушедшего от нас Валентина Николаева, чье сердце устало от череды дел и дней, но мысли и молитвы были о близких людях, а не о себе. Такие люди счастливы от своей внутренней свободы, от выполнения бесконечных крестьянских «надо». Они каждодневно ставят себе задачи и выполняют их, каких бы усилий они не стоили. Вплоть до кровавых волдырей, обмороков и смерти. Почему я называю их крестьянскими, эти «надо»? Потому, что дела эти неисчерпаемы, как время, пространство и космос.

И опять встрянет «горожанин»: «Эка куда загнул! Земельно-навозные дела сравнил с космосом». И будет не прав.

«И вот я хожу по дому и огороду, пытаюсь замазать глиной печь, закрепить топор на топорище, застеклить раму, хоть временно заделать протек в крыше. Устаю от неумения и одиночества, но пробую снова и снова – будто сдаю запоздалый экзамен на крестьянскую суть. И толкнуть жизнь в доме почему-то трудно, будто переступить роковую черту…»

Так пишет пятидесятилетний Валентин Николаев, преодолевающий в жизни раз за разом несчетные крестьянские «надо». Надо поправить подгнивший столб у забора, надо вскопать огород, посадить кусты малины и смородины, поднять покосившийся угол дома, надо купить или взять в аренду домкрат для этой цели. Надо записать пару сокровенных мыслей. Надо, надо, надо…

Но зато, когда выполнишь одно из бесчисленных «надо», отойдешь с потаенной улыбкой в сторону, чтобы полюбоваться на результат трудов своих, где-то там, в секретной глубине души вспыхнет свечой маленький огонек удовлетворения. Будет он разгораться и шириться, пока не заполонит всего тебя теплом счастья от добротно выполненной работы.

А вот и космос. «В полночь я распахиваю дверь своего дома и ступаю будто сразу в космос: такая плотная тишина пропитывает всю многоверстную тьму ночи, что душа сжимается в точку и замирает в ожидании чуда».

И зря выговаривает Николаев на свое неумение: руки у него были золотые. Друзья-литераторы вспоминают, что как-то потребовалось от-

крыть без ключа висячий замок в садовом домике. Это смог сделать только он, бывший механик-моторист и знаток всей плавучей (и не только) техники.

…Надо воспитать детей.

«Какой ужас, – воскликнет “горожанин”, – и в этом вся жизнь, вся долгая жизнь? Где же театры, супермаркеты, кафе и рестораны, шмотки из cottona, пикники с шашлыками, вином и девочками?»

Не такая ли жизнь поманила вначале и Валентина, умного, много читающего и приметливого паренька? Индустриальный техникум в тесном, провинциальном Иванове не понравился ему. Поехал в Горький на простор двух великих русских рек, в малопонятное скопище людей в одном месте. Стал работать на стройке.

«Видимо, я строил не только дом, а еще и себя, и это оказалось для меня важнее», – вспоминал об этом времени молодой еще Валентин Николаев. Уже в ту пору он стал вести дневник – первое удовлетворение изнурительной писательской страсти. Поступил в речное училище в восемнадцать лет, а вокруг него четырнадцатилетние пацаны, большинство из которых зазнайки-горожане. Зачем? Видимо, чтобы удовлетворить еще одну страсть – любовь к воде, вечно движущейся, изменяющейся натуре.

Скорее всего, ему было нелегко. Недаром вырвалось у него в воспоминаниях, когда после училища он стал работать по специальности на своей родной реке Унже: «Я занимался любимой работой (старший механик на дизель-электрическом кране. – *М. Ч.*)… жил в разных местах среди близких мне людей, а главное – я снова попал в родную **языковую** (выделено мной. – *М. Ч.*) стихию, знакомую и любимую с детства».

Первый рассказ в газете. Он тоже отражение нелегких будней в большом и чужом городе, который заставил понять деревенского парня первое противоречие между собой и миром. Он изучал в училище механизмы машин, а в рассказе – признания в любви к природе. «Видимо, я об этом немало думал… испытывал тоску по лесам, озерам, по вольному детству, которое уходило навсегда, но облегчения не находил, – признавался позже Николаев, – потому и написал».

Противоречия, несоответствия между миром и человеком требуют душевного разрешения. «Когда “беда” эта (имеется в виду противоречие. – *М. Ч.*) слишком велика, человек пытается что-то писать», – делает вывод Николаев. Нечто похожее происходило и с Максимом Горьким, но у Николаева – по-своему, может быть, попроще, но более раздумчиво и не так прямолинейно.

Валентин Николаев настойчиво пытается понять, осознать те мучительные несоответствия, о которых он говорит, набраться уму-разуму в нелегкой работе на русских реках и в литературных трудах. По признанию самого Валентина Николаева, годы работы в сплавной конторе на реке Унжа были самыми лучшими в его жизни. Но литературное призвание победило страсть к реке, хотя она осталась «главным героем» в его последующих произведениях: с 1967 по 1972 годы он студент Литературного института имени А.М. Горького.

Московское сонмище оказалось, и это естественно для любого провинциала, еще ужаснее, чем горьковское, но это ни в малой степени не обескуражило Николаева. В эти годы он упорно оттачивает свое мастерство, чтобы потом со знанием дела и опыта сказать: «Писательский путь – одинок. Ни друзей, ни попутчиков; равнодушных, а то и врагов,

завистников – много. …И было грустно, что таланты так редки даже в большом городе».

И после института, с отличием оконченного, после суетной, прекрасно понятой, бездушной Москвы, не верящей не только слезам, но и скромным талантам, Николаев ищет смысл жизни, свою вечную тему, свое четвертое измерение. Он буквально всё хочет попробовать и подержать в руках, чтобы об этом написать. И, главное, непременно понять, сделать свой вывод, попутно определив и свое место в этом трудно принимающем его мире.

Николаев бросается за впечатлениями, сюжетами, новыми людьми, надеясь, что они все: и люди, и природа, и острые ощущения ответят на его сложные, мировоззренческие вопросы. Нет, они не помогли, не ответили, но зато он понял, что отвечать на них надо ему самому, не перекладывая ответы на чужие плечи.

«Когда человек пишет, он как бы “достраивает” себя, раздвигает границы собственного “я” в мире. Этим “я” или частицей “я” может быть любой герой произведения», – размышляет Николаев. И пишет о своих скитаниях по необъятной стране от Унжи, на которой родился, до Берингова моря, дальше которого и России уж нет. «Я был лесорубом и сплавщиком, речником и моряком, грузчиком и крановщиком, слесарем и инженером…» – отмечает он на склоне своих лет в философском трактате «Тоска по мастеру».

С 1972 года Валентин Николаев стал активно «достраивать» себя очерками, рассказами, повестями: «Зеленые звезды», «Долгая дорога», «Последняя навигация».

Смерть матери, которая двадцать лет после смерти мужа одна жила в родовом доме, вернула его с Камчатки в родные края. Вообще этот 1974 год стал для Николаева некой гранью, бортом неведомой лодки-желонки, перепрыгнув через который он очутился в другой жизни. Год стал не только годом семейного горя, но и годом кардинальных перемен в жизни. Он влюбился в молоденькую белокурую девушку, женился на ней, и в тот же год молодая жена (восемнадцать лет разницы) родила ему наследника. В этом же году в Волго-Вятском книжном издательстве в коллективном сборнике «Вступление» выходит его повесть «Последняя навигация», а с ноября 1978 года, получив квартиру, он навечно остается в городе Горьком. И… так же навечно отошли в прошлое камчатские скитания среди морей, среди сопок, прочно забылись запахи перегретого машинного масла в речных двигателях и самоходных дизель-кранах, брошена любимая работа по их обслуживанию, отошли близкие по работе люди. Перед глазами жена, сын, семейные заботы и невзгоды, жесткая необходимость заработка... и манящие снежной чистотой литературные вершины.

И «изначальная волна жизни» активно родит «волну литературную». В последующие годы одна за другой выходят блистательные вещи: «Весновка», «Солнышко – всем», «Дыхание берегов», «Не убежит река», «Шумит Шилекша». Валентин Николаев в 1978 году единогласно принят в Союз писателей СССР. Впереди многообещающее будущее?

Нет, нельзя записному морскому и речному бродяге резко менять ветер в парусах своей судьбы. Нельзя! Он выкинул на полном ходу катера свою морскую штормовку и надел цивильный, дорогой костюм, сделал модную, стильную прическу, выхолил шкиперскую бородку. Но… в душе, видимо, бушевал камчатский шторм.

Как-то в одном из многочисленных разговоров с ним случайно всплыла тема судьбы. Он с грустью в глазах (в ту пору она прочно поселилась там) признался, что, будучи в Иркутске (пришлось ему в конце шестидесятых поплавать и по Ангаре), зашел в местное отделение Союза писателей СССР и попросил о встрече с кем-нибудь из местных прозаиков. Председатель правления был в отъезде, ему назвали фамилии Распутина и Вампилова, которые в ту пору никому ничего не говорили, и он отказался от разговора.

– Как же резко могла измениться моя жизнь, – с горечью посетовал он на свою промолчавшую в тот момент интуицию.

И неотвратимо наступало время тех, о ком Валентин Николаев говорил еще в 1979 году. «Все они даже не представляют, не думают, не хотят думать, “на чью мельницу льют воду”. Они попугайски повторяют свое: “В наше время уже нельзя плохо жить, как раньше”. Это их “плохо” значит: “Слишком много работаю, а мало имею. Наоборот бы”. Но ведь это философия лошади: поменьше пахоты, побольше овса».

Те, кто «много имел», крепко запомнили эти слова Валентина Николаева. Нельзя, наверное, прямо сказать, что его зажимали и не печатали, но прямолинейному и рассудительному Николаеву жилось трудно, особенно с теми, кто заправлял литературными делами. Пытаясь исправить положение, он, то ли очарованный софистикой, точнее пустой болтовней, Михаила Горбачева, то ли по совету близких, вступил в сентябре 1985 года в КПСС. Хотя нельзя исключить, что ему, возглавлявшему в то время литературное объединение «Воложка», намекнули, что не члену КПСС не положено заниматься воспитанием комсомольской молодежи. И он вступил, скрепя сердце, так как мог лишиться единственного заработка.

Но это мало помогло ему. К тем временам относятся слова Валентина Арсеньевича: «Пятнадцать лет прошло с тех пор (1973 г., Камчатка, примечание мое. – *М. Ч.*), а то ощущение свое литературное помню и по сей день – и крылья есть, и силу в них чувствую, а взлететь не могу: нет воздуху под крыльями».

Он осторожен в высказываниях до конца дней своих. Однако из наших разговоров я знал его мнение о «верных» членах компартии.

В восьмидесятые и девяностые годы Николаев стал меньше печататься, но не писать, а уж тем более думать. Перебивался случайными заработками то сторожа, то истопника. У него появилась новая любовь, точнее забота – отчий дом. «И остались в этом мире мы с домом вдвоем: я в городе, он – в деревне». Что такое для крестьянина родительский дом? Это тотем, сохраняющий кровную близость на всю жизнь, это настоящий объект религиозного поклонения, но это не икона, а друг, которого надо спасать. Не от дома ли тянется живая философская нить его размышлений о сути бытия?

Максим Горький – словами своего персонажа Барона (пьеса «На дне»): «Ты – рассуждаешь… Это – хорошо… это, должно быть, греет сердце... У меня – нет этого… я – не умею! Я, брат, боюсь… иногда. Понимаешь? Трушу…»

Валентин Николаев не трусит, он греет душу рассуждениями о доме, о брате, о делах, далеких, казалось бы, от литературы, редакций, издательств. Он перестал бояться одиночества и уставать от него. Оно стало нужно ему как спутник творчества. Он называл себя унженским затворником.

Вот что он пишет о брате: «Что его сюда звало в течение шести лет после смерти матери? Воспитанный и выучившийся на стороне, давно порвавший с колхозом, он, видимо, до конца так и не мог порвать в себе крестьянскую нить: подправлял изгороди, красил крышу…» Нет, не о брате писал Николаев, а о себе. В небольшой прихожей его городской трехкомнатной квартиры аккуратной стопкой лежали у стены широкие доски, припасенные для ремонта отчего дома. Так что не совсем прав был Николаев, когда говорил: «…Я в городе, он – в деревне». Его дом был и в городе, в квартире, а точнее, в его душе.

Он и говорит-то о жизни дома словно о любимом, но уходящем человеке: «Жизнь из дома выветривается постепенно. Первой – еще раньше хозяина – уходит кошка. И тогда наступают, выживают хозяина из дома мыши… И дом немеет. Он теряет жилой дух, как живую душу…» Чтобы дом не потерял душу, Валентин Николаев с весны, пока еще стоял лед на Горьковском водохранилище и на Унже, уезжал на родное пепелище (редкое, метафорическое определение родительского дома по В. Далю). И возвращался в город только с приходом холодов.

Огромная масса жизненных наблюдений переполняла сознание Николаева, требовала творческого обобщения и выхода. Непременно всем нам, в той или иной мере пробующим изложить свои сокровенные мысли на бумаге, надо учиться литературному мастерству, как учатся своим профессиональным навыкам пивовары, сапожники, портные и еще десятки специалистов. Понятно, что, чем искуснее портной, тем с большой охотой носят люди его вещи, отдавая за доставленное удовольствие немалые деньги. Красота, особенно внешняя, требует много жертв.

Красота души, даже изреченная, не так заметна людям, но жертв для нее нужно еще больше. Для человека, владеющего ею, она порой даже обременительна, так как мешает достижению материального благополучия. Так устроен мир. Точнее, так придумали его устроить, чтобы не зависеть от людей, проповедующих верховенство красоты душевной.

Разрешение этого нового противоречия и трепетное отношение к слову-воробью, которое, если вылетит – не поймаешь, приводит Николаева к философскому осмыслению жизни и литературы, а точнее, жизни в литературе. Может быть, к этому его подтолкнуло сократовское: «Женитесь обязательно; если вам попадется хорошая жена, вы будете счастливы. Если плохая – станете философом». Скорее, первым побудительным мотивом стали споры о литературе, о писательском мастерстве с молодыми авторами на занятиях в творческом объединении «Воложка».

Его пытливый ум непрестанно искал истоки рождения талантов, его цепкая память отсеивала, фильтровала, выбирала из ничтожных, на первый взгляд, незначительных мыслей молодых его учеников крупицы драгоценной истины. Предсмертное книжное издание Валентина Николаева «Свет слова и тоска по мастеру» (такое название получила его первоначальная «Тоска по мастеру») подытожило его нелегкие искания Бога в себе и в творчестве.

«Мне кажется, русская литература ближе других стоит к Богу. Не знаю, как это объяснить, но думается: она наивнее умом и мудрее душой. Она менее других связана с материалистичностью мира. Мы более, чем кто-либо, озабочены устройством души. Из-за этого во многом проигрываем и много страдаем».

Николаев стал мыслителем, хотя ими не становятся, ими рождаются. Только проявляется мудрость в зрелом возрасте. Он, как Сократ, впервые в истории занявшийся сутью человека, проблемами прав его и обязанностей, отношений между личностью и обществом, свободы и ответственности, добра и зла, жизни и смерти, приложил все это к литературному процессу и творчеству. Он своей жизнью подтвердил вывод Сократа, что счастье достигается самосовершенствованием, а не успехом и количеством дензнаков.

«Мне захотелось порассуждать о высоких законах мастерства, о высшем художестве не только ради молодых, мне самому интересно потоптаться на подступах к вершинам, которых я никогда не достигну. Это поучительно. Возможно, и не мне одному», – как всегда скромно говорит Валентин Николаев.

Его «Тоска по мастеру» только на первый взгляд кажется монологом, размышлениями уединенного человека, которые не предполагают ответа и взаимодействия с другим человеком и его точкой зрения. Николаев, исходя из своей православности, являющейся частью его этики, учитывает и уважает иные точки зрения, и потому его мысли отшельника имеют принципиальный характер диалога, который выстрадан всей его жизнью. Лишь через отношение к другому человеку, тем и характерен диалог Николаева, он становится собой, осознает свое независимое «я», что в дальнейшем определяет его отношение к Богу.

«Мы часто говорим о наличии жизни в ином измерении и тайком мечтаем распахнуть туда дверь и попробовать пожить там. Но, может быть, литература, талантливая ее часть, и есть некое преддверие этой иной жизни, отсвет ее, манящая даль нашего будущего. Нет, литература не шалость, не развлечение, это общее усилие человечества раздвинуть границы своей жизни».

Конечно же, это диалог, это заветное обращение к читателю и ученику: «Нет, литература не шалость…» – это не монолог влюбленного в свои знания человека. Все мысли из «Тоски по мастеру» показывают, что у Николаева есть навыки оценки других взглядов (чего только стоит общение с честолюбивыми учениками, считающими свои литературные опыты шедеврами), есть умение слышать других, верно оценивать их и находить отсвет компромисса.

В своих диалогах «Тоска по мастеру» Николаев определяет прежде всего существование не только литературы, а своего «я» в литературе и жизни на переломных этапах, в критических ситуациях борьбы, страданий, вплоть до смерти. «И разгадать эту тайну почему-то неудержимо тянет…»

Николаеву потребовался весь опыт жизни, чтобы определить свою экзистенцию в обществе «золотого тельца», не говоря о ней прямо.

«Когда все разочаруются и уйдут… когда от художника отвернется общество, жена, дети, родственники – он остается наедине с Богом и своей душой. То есть, его самого вообще как бы нет, есть только прямая связь душа – Бог. И больше он не слушает земных судей. Он входит в особую сферу жизни, где нет примеров для подражания, нет правил. Он становится беспредельно свободен и независим.

Только истинный художник может вынести такую свободу, такое одиночество. После этого у него нет уже страха: его никто не достанет, кроме смерти».

После этих откровений можно сказать, что Николаеву удалось вобрать в себя всю мудрость мира, словно схватить сказочную Жар-птицу

за хвост. Думается, что он вправе был написать: «…его никто не достанет, **даже смерть**».

В благодарность за то, что Бог позволил ему прикоснуться к мировой мудрости, последний период своего творчества Валентин Николаев писал книги для детской православной библиотеки в серии «Жития святых детям». Вот тогда и пригодился простой и сочный язык Николаева для перевода (по-другому не скажешь) сложного канонического текста для художественного восприятия его детьми.

«Пристыженный Симон, оказав себя призраком с собачьей головой, бросился бежать. Но народ задержал его. Все были до того возбуждены, что требовали, чтобы Симон был побит камнями, другие настаивали сжечь его живым.

– Господь наш и Учитель, – возвысил голос Петр, – повелел не платить злом на зло…» («Горячий Апостол»).

Так возникли книги для детей: «Авва Даниил», «Алексий человек Божий», уже упомянутый «Горячий Апостол» и как венец этой серии – «Земная жизнь Пресвятой Богородицы».

И неслучаен тот факт, что после изнурительной борьбы за кусок хлеба в годы буржуазных реформ, после случайных заработков и тяжких раздумий, появился верный заработок. Но плачет душа:

«Все меньше рвения я вижу сегодня у своих литературных учеников. Не движение сердца, а расчет ума всё чаще наблюдается в отношении к литературе. Хотя в литературе, как в религии, должно быть исповедание, глубокая мистика. Взять от учителя, от издателя, от самой литературы… Причем взять, ничем не поступившись, ничего не потеряв, “никому ничего не задолжав”».

Скромным, добрым и терпеливым человеком был талантливый писатель земли русской Валентин Николаев.

«У всякого писателя есть родина. Он обязан сделать ее литературной родиной. Иначе он не оправдает свое назначение. Земля за рождение таланта требует ответную плату».

Ценою в жизнь определила его талант родная земля. Ни на сантиметр не свернул с литературного пути Валентин Николаев, а занимался «основным делом»: сочинял. Так ответил он своему соседу в родной деревне. Так и жил: не лукавя, не обманывая никого, терпя лишения, но не сгибаясь.

«Мы все, кто работает в литературе, – пожизненно запряженные. Мы и спим в хомуте. Но лучше крепко спать в хомуте, чем мучиться от бессонницы по причине ненайденной в жизни дороги».

И еще нечто, непонятное «горожанину»:

«Когда уходит из жизни талантливый художник, писатель, написавший **совсем** мало, возникает щемящее чувство любви, сожаления и как будто вины».

Валентин Арсеньевич, прости нас, полных щемящим чувством вины.